

и спокойного, как часы на соборной площади Кёнигсберга (Гейне)³. В такой же мере стиль Шестова — не тяжеловесная, неуклюжая проза автора «Критики чистого разума». Философия его и по форме освобождает нас от той паутинообразной диалектики, которая обволокла мышление человеческое. Эта форма неразлучна с той «величайшей и последней борьбой», которую Шестов предпринял за освобождение человеческого духа.

Б. Ф. ШЛЁЦЕР

Лев Шестов.

К 70-летию со дня рождения

Признаюсь, не без страха беру перо в руки. Не потому, конечно, что дело идет о «юбилейной» статье, налагающей на автора определенные обязательства; когда пишешь о Шестове, все условности, связанные с этим литературным жанром, немедленно отпадают. С другой стороны, читатель, само собой разумеется, не ждет ведь от меня изложения в каких-нибудь трехстах строках философии Шестова, ее роли и места в развитии русской европейской мысли и пр. Но даже и отказавшись от столь явно непосильной задачи, трудностей много, ибо, по самой сущности своей, мысль Шестова не укладывается в схему и не поддается сжатой формулировке. Не в том дело, что Шестов себе противоречит (его противоречия чисто внешние); наоборот, развитие его мысли отличается совершенно исключительной цельностью, которой могли бы позавидовать многие догматики и систематики.

Когда я читаю и слушаю Шестова, мне часто вспоминается знаменитая речь Бергсона на Болонском философском конгрессе¹. Система философа, его наиболее сложные и отвлеченные построения, говорил Бергсон, являются отражением некоей основной интуиции, которой питается все его творчество, которую он пытается в течение всей жизни, и сам не отдавая себе в том отчета, воплотить и высказать себе и другим, но о которой мы, в лучшем случае, способны лишь догадаться, ибо она не может быть вполне выражена в рациональных терминах. Действительно, если при свете последних книг и статей Шестова мы ныне возвращаемся к его первым сочинениям, мы замечаем, что в связи с самыми разнообразными темами, в самых неожиданных подчас формах и как бы автор ни уклонялся, по-видимому, в сторону, все его помыслы вращаются вокруг одного центра. Во всех его произведениях, начиная с первой работы — «Шекспир и его критик Брандес» — и кончая последней, еще неопубликованной, — «Кир-

кегор и экзистенциальная философия», — живет одно безудержное стремление, напряженно бьется одна страстная мысль, питаемая совершенно своеобразным восприятием бытия. Сначала смутная, плохо осознанная, ценой огромного, нечеловеческого усилия, мысль эта постепенно углубляется, проясняется. Но ей и теперь не дано найти вполне адекватного себе выражения: будучи мыслью философской, точнее метафизической, так как она настойчиво ищет корней и истоков бытия (по выражению Плотина, часто повторяемому Шестовым), она, вместе с тем, взрывает обычные методы философского исследования.

Наконец, еще одна трудность: «излагать» Шестова невозможно. Киркегор впадал в ярость, представляя себе, что в один прекрасный день придет «приват-доцент» и разъяснит то, что думал он, Киркегор, разложив его «учение» по главам и параграфам. Есть мыслители — к ним принадлежит и Шестов, — к которым подходить объективно нельзя, ибо при подобном к ним отношении теряется самое в них существенное и драгоценное, самый смысл их деятельности. Смысл этот раскрывается более или менее лишь перед тем, для кого их дело становится его собственным делом, кто принимает в нем деятельное участие, кто по-своему переживает мучившие их вопросы. Зрителю, постороннему наблюдателю тут нечего делать, с какой бы симпатией он к ним ни относился; тут нужна личная заинтересованность. Собственно говоря, с Шестовым следовало бы проделать то же, что сам Шестов проделал с Паскалем, с Ницше, с Киркегором, с Достоевским. Немедленно, однако, встает вопрос: такой субъективный метод не приводит ли к искажению образа философа, писателя? И Шестова ведь иногда упрекали в чересчур «свободном» истолковании Ницше, Достоевского и других. И приходится ведь сознаться, что его Ницше, действительно, мало похож на Ницше, каким его изображает, например, Андлер², огромный труд которого является образцом объективного исследования, где автор старательно выводит за скобки свое «я». Но тут-то именно мы и подходим к одной из основных шестовских проблем, на которой мне хотелось бы остановиться: точно ли личная заинтересованность препятствует разысканию истины?

Если нам предстоит измерить расстояние от земли до луны, то спора быть не может: нам необходимо свести до минимума влияние личного фактора, источника всех ошибок; лучше всего в данном случае заметить, насколько возможно, живого наблюдателя регистрирующим аппаратом. Но можем ли мы быть уверены, что тот же метод применим и тогда, когда дело идет о нашей личной судьбе, о свободе, о Боге, то есть в той области, где мы заинтересованы, и даже весьма, в том или ином решении вопроса? С точки зрения как научной, так и спекулятивной философии, вопли раздавленного человека — явление в цепи других явлений, никакой познавательной ценностью они не обладают, никакого действия они не способны оказать на самый факт, на не-

счастье, обрушившееся на человека. С точки зрения Шестова, вопли эти — аргумент против действительности факта. Такая философская позиция представляется абсурдной. Но кто или что говорит нам, что она абсурдна? Когда мы спрашиваем, применимы ли рациональные методы, дающие столь блестящие обычно результаты, и тогда, когда речь идет о самом для нас драгоценном и важном, то тем самым, что мы ставим такой вопрос, мы обращаемся к разуму и заранее готовы принять его ответ, каков бы он ни был. И ответ этот, конечно, гласит, не может не гласить, что хотим ли мы принять известные факты или не хотим, все равно, факт остается фактом. Иными словами, мы оказываемся как в заколдованном кругу: ибо, сомневаясь в разуме, мы ищем ответа на наши сомнения у того же разума.

Сказать Шестову, что его позиция абсурдна, не есть возражение; сам Шестов прекрасно сознает, что она для разума неприемлема, что разум считает ее противоречивой и потому невозможной. Но ведь вся проблема сводится именно к тому, дано ли разуму определить пределы возможного и невозможного, дано ли ему определить бытие; иначе говоря: возможно ли то в действительности, что логически невозможно.

Пока мы познаем мир, то есть не только констатируем факты, но устанавливаем между ними необходимые отношения, и высказываем о них всеобщие обязательные суждения, мы должны принять то, что есть, как бы оно ни было ужасно, отвратительно, и какие бы протесты оно в нас ни вызывало. Познание нас связывает и принуждает, именно разумное познание. Но возможно ли иное познание, то есть не сводимое к установлению необходимых отношений, не выражающееся во всеобщих и обязательных высказываниях, такое познание, которое решало бы вопрос о реальности того или иного факта в зависимости от его приемлемости или неприемлемости для нас; причем власть его распространялась бы и на прошлое таким образом, что оно способно было бы сделать однажды бывшее небывшим?

Если мы так спросим, ответит разум, и ответит: бессмыслица, невозможность. Но Шестов обращается к Библии. Не потому, что он признает за нею «авторитет», а потому, что в книге Бытия, в сказании о грехопадении он улавливает какие-то иные возможности, он слышит иную истину, истину откровенную, а не рациональную. В книге Бытия он находит ту критику разума, которую тщетно было бы ждать от самого разума. И критика эта выражена в сказании о древе познания добра и зла. В чем заключался первородный грех? В послушании, — отвечают обычно. В познании, — отвечает Шестов. Слова Бога, обращенные к Адаму: «Если вкусишь от плодов... смертью умрешь», — понимаются всегда как угроза: смерть — наказание за послушание. Для Шестова эти слова выражают *мотив* запрещения: Бог предупреждает человека, что познание имеет своим последствием смерть. И действительно, когда человек вкусил от плодов, «открылись его глаза», то есть мир ему

представился как нечто данное, обладающее определенной структурой, с которой человек должен считаться, которая властно, беспощадно принуждает его, и которую ему остается лишь понять, тем окончательно связав себя, ибо «понять» значит признать, что то, что есть, не может быть иным, чем оно есть. Мир замкнулся; человек оказался в западне. Из нее нет выхода, пока человек полагается исключительно на разум, пока он остается послушным истинам рациональным и в послушании этом видит даже свою добродетель, свое величие. Но выход дан в истинах откровения.

Истина разума с человеком не считается: та рациональная истина, что однажды бывшее не может быть небывшим, способна принести человеку иногда и хорошее (есть факты прошлого, от которых мы не хотели бы отказаться, которые нам дороги), но большею частью она губительна и унижительна. Истины же откровения, по существу своему, все спасительны; они идут навстречу глубочайшим и насущнейшим потребностям человека. Откровенная истина, что существует Бог, что для Бога все возможно, что Он нас любит, очистит нас от греха (то есть сделает бывшее небывшим) и исполнит наши просьбы и пр., и пр., все эти и подобные им истины нас освобождают, из рабов этого мира делают нас его владыками и в корне уничтожают зло. Но истины эти даны лишь в вере, которая, по выражению Шестова, есть третье измерение мышления. Одно лишь познание через веру подводит нас к корням и истокам бытия, где не властны уже законы разума, где не только для Бога, для человека нет ничего невозможного.

Однако, когда мы говорим «вера», не кончается ли тут всякая философия? Конечно, возможна философия веры, как систематическая рефлексия над самим фактом веры, над тем психологическим процессом, который обозначается термином «вера». Возможна также философия (и таких философских систем ведь немало), включающая в свою сферу наряду с истинами рациональными и истины откровенные и стремящиеся примирить их между собою. Но не этого вовсе хочет Шестов; если бы он согласился на подобное примирение, все дело его жизни сведено было бы на нет. Незачем тогда было ему бороться: отстаивать права откровенной истины на существование рядом с истинами рациональными — значит вновь идти на поклон к разуму, просить его разрешения; а с нашими потребностями и желаниями он считаться не будет.

Как же возможна все-таки философия, или, точнее, метафизика веры, оперирующая откровенными истинами? Оперировать, кажется нам, допустимо лишь логическими методами, диалектикой, дедукцией... Иными словами, столь ценные для нас истины веры попадут, в конце концов, в тиски разума. Но снова и снова приходится повторять: если спрашивать заранее, то мы не сдвинемся с места или будем возвращаться в том же заколдованном кругу. Нельзя спрашивать

у разума, допустимо ли от него уйти, и в какую сторону нужно для этого направиться. Однако все те, которые когда-либо возражали Шестову и указывали на безнадежность его поисков, на обреченность его усилий, в различных формах варьировали тот же аргумент, представляющийся действительно неотразимым. Сам же Шестов цитирует Авраама, который, поверив Богу, пошел, сам не зная куда, и пришел в обетованную землю; там, где он был, и потому, что он был с Богом, там-то и находилась обетованная земля. Но тогда я спрашиваю себя: то, что хочет Шестов, то третье измерение мышления, которое он стремится пробудить, так сказать, в нас, и, прежде всего, конечно, в себе самом, не сводится ли оно, по существу, к тому, чтобы одними человеческими усилиями вернуться к познанию до грехопадения, то есть не сводится ли оно к победе над грехом силою человеческого мышления, что религиозно недопустимо? А затем, верит ли сам Шестов? Если я не верю, сказал он как-то мне, то знаю, что именно худшее во мне не верит.

Думаю, что если бы Шестов увидел заранее, что его ждет, какие непреодолимые на человеческий взгляд препятствия он встретит на своем пути, на какое страшное одиночество он будет осужден, хотя и окруженный друзьями и даже поклонниками, он испугался бы, отступил и успокоился бы на каком-нибудь компромиссе. Но он не знал, он преодолевал один этап за другим, увлекая читателя блеском литературного изложения, смелостью мысли, оригинальностью парадоксов (ибо для большинства это были парадоксы), и никто не подозревал мучительной борьбы, которую он переживал, борясь с человеческим, слишком человеческим в себе самом.

Н. А. БЕРДЯЕВ

Памяти Льва Шестова

Умер один из самых замечательных, самых оригинальных русских мыслителей XX века и один из лучших людей, каких мне пришлось встречать в жизни. Для меня лично ушел близкий друг всей моей жизни, может быть — единственный.

Здесь не место давать философскую оценку Л. Шестова. Скажу только, что он всю жизнь искал Бога и, вероятно, был ближе к Богу, чем многие, считающие эту близость своей привилегией. Тема всей его жизни, которой он всегда оставался верен, была чисто религиозная. Мысль его была очень напряженной и взволнованной. Его интересовала не отвлеченная мысль и отвлеченное познание, а страдальческая судьба